

А. В.  
АМФИТЕАТРОВ



*Избранное*



# Александр Валентинович Амфитеатров

## Захарьин

«Предсвяточное событие Белокаменной – смерть Захарьина. Когда я увидел это неожиданное известие в „Московских ведомостях“, я, право, не поверил своим глазам и даже протер их:

– Как же это? Захарьин, сам Захарьин – и вдруг умер?!.»

**Александр Валентинович  
Амфитеатров  
Захарьин**

Предсвяточное событие Белокаменной – смерть Захарьина. Когда я увидел это неожиданное известие в «Московских ведомостях», я, право, не поверил своим глазам и даже протер их:

– Как же это? Захарьин, сам Захарьин – и вдруг умер?!

Захарьина у чужого смертного одра все привыкли воображать себе, но Захарьина на его собственном смертном одре всякому представить дико.

Старинное качество Москвы: она очень быстро охладевает к памяти своих знаменитых покойников и забывает их, но, в первых взрывах надгробного рыдания, она – неутомимая и самоотверженная плакальщица. Памятуя похороны Алексеева, Аксакова, Каткова, Рубинштейна, я ждал и теперь сильного, всемосковского, так сказать, энтузиазма печали. Помните, как в «Антонии и Клеопатре» возвещают смерть Антония, и весть эта встречает недоверие: «Не может быть! Если бы Антоний умер, то полсвета потряслось бы на своих устоях, и Африка сбросила бы с лица своего всех львов своих». Захарьин – для Москвы –

был фигурой огромного значения. Однако и его смерть не вызвала трясения в устоях света, и по поводу его смерти львы не только в Африке, но даже и на воротах Английского клуба на Тверской не были обеспокоены. Прямо удивляться приходилось, с каким равнодушием приняли москвичи сообщение, что не стало их врача-фауматурга – несомненно, одного из самых солидных китов, на которых держался всероссийский интерес к современной Москве.

Газетные некрологи Захарьина вышли сухи и формальны, кроме «Московских ведомостей». Они, поминая покойника весьма теплыми и прочувствованными строками, заключили свою статью многозначительным советом в пространство – оставить вражду к Захарьину у открытой его могилы. Газета говорит о клеветах на покойного, об огорчениях, отравлявших ему жизнь «после 1894 года». Я думаю, что не во вражде и не в клеветах дело, а просто в том, что – при всей своей, до баснословия возвышавшейся, знаменитости, – Захарьин был крайне «не популярен» в русском обществе. Если оно не всполошилось

при слухе о своей внезапной потере, то объяснения надо искать не во вражде и клеветах, а именно в этой непопулярности великого врача, какую он сам себе сковывал всю свою жизнь, изо дня в день, последовательно, без масок и уступок – скорее, наоборот, дразня своим образом действий и вызывая против себя общественное мнение.

Я видел Захарьина пять-шесть раз не более, в том числе – лишь однажды у постели больной; первые случаи не имели ничего общего с врачебною его практикой. Призван к больной он был, конечно, когда уже перепробованы были все остальные знаменитости медицинской Москвы, и ни одна не помогла. Трепетали в доме пациентки – крупной и влиятельной богачихи московской – перед приездом Захарьина, точно ждали не благодетеля и целителя, а самого Ивана Васильевича Грозного со всею опричниною. Наслушавшись с детства о захарьинских капризах и причудах, я, в числе прочих, ждал «спектакля». Но великий человек приехал не то уж очень в духе, не то уж очень не в духе; дело в том, что из прославленных своих проказ он

на сей раз ни одной не проделал, что говорило за доброе его расположение. Но – по усталому лицу его, угрюмому и презрительному, по взгляду, до оскорбительности небрежному, по враждебной, повелительной сухости обращения с пациенткою, родственниками ее, ассистентом своим и домашним врачом – можно было предположить совершенно обратное. Он казался человеком в состоянии крайнего удручения и нравственного, и физического, чем-то жестоко и безнадежно раздраженного и срывающего свое гневное сердце на каждом встречном. Часов в доме он, вопреки сложившейся легенде, не останавливал, костылем не стучал, крепкими словами не ругался, – он только презирал за что-то всех вокруг себя: и больную, и лечащих, и родных, с трепетом ждавших его решенья; говорил нехотя и таким злым тоном, точно все его несправедливо в чем-то обижают; съел и выпил что-то особенное, заранее, по совету с его ассистентом, для него приготовленное, и при этом выразил благодарность за хозяйскую любезность гримасою самого неподдельного омерзения: утораздило же, мол, вас купить такую

гадость, – не могли найти лучше?.. Потом уехал, объявив больную безнадежною. Она, словно назло, взяла да и выздоровела.

В слухах о дурном обращении Захарьина с пациентами, при бесспорной доле правды, много преувеличения. Однако, что резкость и грубость входили в его систему диагноза, – нельзя отрицать. Медицина – странное дело. Публика так привыкла в ее области к суеверию, к жреческим, мистическим проделкам, к авторитету высшего, недостижимого простым смертным умом, знания, что до сих пор стучится к врачам не столько за положительными научными сведениями о своих болезнях, сколько с требованием – сделай такое-то чудо *in herbis, verbis et lapidibus*[1] и зато возьми с меня какие угодно дани и пошлины! К врачам знаменитым это относится даже в гораздо большей степени, в гораздо ярчайших проявлениях, чем к врачам с практикою общедоступною. Если мне врач Иван Иванович говорит:

– Вам, милостивый государь, осталось жить трое суток, ибо от легких у вас уцелело одно воспоминание...

То, хотя я и знаю, что по науке без легких жить нельзя, хотя уверен, что настолько-то Иван Иванович знает человеческий организм, чтобы не ошибиться в степени разрушения легких, – я ни за что не поверю, однако, Ивану Иванычу:

– Что? умирать через трое суток? с какой стати? от каких-то там легких? Ни за что! Не может быть, чтобы не было средства...

Это не легкие мои виноваты, что я умираю, а виноват Иван Иваныч – зачем он не знает средства, как бы удержать меня в живых, хотя и без легких. Везите меня к Боткину, к Остроумову, к Захарьину: они-то уж, наверное, такое средство знают... должны знать! иначе – зачем же они знаменитости?

На предельных высотах своих медицина – с пациентской точки зрения – обращается в то же, чем встречаем мы ее на низших ступенях ее развития: в знахарство. Как мужик, иссыхая в щепку от уверенности, что его испортила какая-нибудь Перфильевна, ищет колдуна-кудесника со словом посильнее ейного, чтобы снять порчу, – так и интеллигент мечется по великим медицинским людям мира

сего: кто же, наконец, из них знает настоящее научное слово на его болезнь? Что верят не в науку медицинскую, а в личность врача, в его таинственную силу, в значение какого-то особаго, припрятанного от других врачей, разряда, – по-моему, лучшее доказательство в том, что, разочаровавшись в чудедействе Захарьиных, больной обыкновенно снимает с себя маску напускного доверия к науке и уже откровенно бросается в поиски чуда: идут в ход гомеопатия, внушение, сумская бабка, Кузьмич, Wunderfrau[2], знахарки, шептуны, наговоры... А – в заключение, когда истощается надежда на силу темную и таинственную, – больной рыдает и просит себе телесной милости от Господа в Иверской часовне либо за молебном о. Иоанна Кронштадтского.

Взгляд на знаменитого врача как на великого знахаря на Захарьине оправдывался с особою упорною настойчивостью и последовательностью. Если собрать тысячи анекдотов, о нем ходящих, вы убедитесь: он в жизнь свою, может быть, ни разу не был призван к постели больного с просьбою: «Исследуй меня и сделай для меня все, что позволят тебе зако-

ны твоей науки!» Его звали с требованием: «Силою ли науки, другою ли какою, – мне все равно! – ты, говорят, делаешь чудеса! – соверши же чудо и надо мною – восстанови мое здоровье!..» Чудес Захарьин, конечно, не делал, – напротив, может быть, ни один врач не напутствовал к смерти стольких больных, как покойный Григорий Антонович, потому что приглашали его, как последнее прибежище, обыкновенно уже к совершенно безнадежным, *in statu mortis*[3]. Следующие за ним гости больного были духовник и гробовщик. Но к вечному ожиданию от себя чуда знаменитый доктор привык, – привык и к раболепству, с каким толпа преклоняется пред чудотворцами. Что Захарьин был очень ученым человеком, не подлежит сомнению; что чрезвычайно умным и самолюбивым – также. Вооруженный всею силою положительного знания, умный, чуткий аналитик, он не мог не презирать эту суеверную массу, ждущую от него не законных и естественных, но сверхчеловеческих деяний. А так как по натуре своей он был не из мягких характеров, то и презрение сказывалось в формах резких, громких,

кричащих. Жизнь то и дело ставила его в совсем ненаучные позиции мага и волшебника по медицинской части, выставляя его – как бы выразиться помягче? право, не подберешь другого выражения! – факиром, что ли, каким-то, только факиром не веры, но науки. Для человека самолюбивого и понимающего истинные смысл и объем своего знания, – позиция втайне обидная, положение раздражающее. И – когда Захарьин видел, что пациент пришел к нему не как к ученому, а как к знахарю, не за наукою, а за шарлатанством, – он выходил из себя и на свой образец мстил обществу, с злобною ирониею давал ему именно то, чего от него просили: шарлатанство в самой жреческой обстановке, с тысячами трагикомических подробностей, грубых и властных выходов человека, зазнавшегося в уверенности, что без него пациенту – недохнуть. И, наоборот, мне известно несколько случаев, когда Захарьин, что называется, «оборванный» пациентом, проникался истинным к нему уважением, делался мил, внимателен, участлив и, действительно, приносил огромную пользу.

Есть старый английский анекдот, как некий лорд, делая у себя бал, велел расстелить красное сукно на улице перед своим домом. А, чтобы прохожие не затоптали сукна, поставил двух гайдуков охранять его. Чуть кто подойдет к сукну, гайдуки кричат:

– Сворачивай!

– Но улица открыта для всех...

– Сворачивай!

– Вы не имеете никакого права...

– Сворачивай!

Спорили, бранились, возмущались, но... сворачивали. Вдруг откуда ни возьмись оборванец в грязнейших сапогах и шагает прямохонько на сукно.

– Сворачивай! – гаркнул гайдук.

Но прохожий, не отвечая ни слова, хватил гайдука «боксом» под глаз и пошел своею дорогою дальше.

– Что же ты пропустил его? – упрекает побитого гайдука другой гайдук.

А тот, пожимая плечами, возражает:

– Разве ты не видел, что этот джентльмен понимает свои права?

Русским знаменитостям свойственно лег-

ко избаловываться, забываться и расстилать красное сукно самообожания в местах, совсем к тому не предназначенных. Это, конечно, нехорошо, но добрая половина вины может быть переложена с самой знаменитости на общество, балующее ее, позволяющее ей распускаться. У нас мало кто знает свои права и умеет их защищать; незаслуженная надменность в русском обществе всегда находит достаточно обширную почву подобострастия, на которой и развивается пышным, но ядовитым цветом. Захарьинские «капризы» были, в значительной степени, того же происхождения.

Подобострастие, каким окружен был Захарьин – на практике ли, в клинике ли, – лакейство пред ним младших жрецов науки превосходили всякое вероятие.

В угодничестве пред всесильным доктором, в лестии пред ним, в пресмыкательстве иные медицинские карьеристы доходили до добровольных унижений, от каких с презрением отвернется самый покладистый чинуша петроградских канцелярий. К сожалению, нельзя не признать, что многие этим путем

добились своего и «вышли в люди» под властной, хотя и оскорбительной опекою Захарьина: падали больно, но вставали здорово. И то правда, что те коллеги Захарьина по московской медицинской корпорации, которые держались по отношению к своему шефу самостоятельно и независимо, не пользовались его симпатиями и очень скоро оказывались в вольной или невольной ему оппозиции.

Захарьин высоко ценил свой труд. В последние годы его визит на дом доступен был лишь очень богатым людям; для человека среднего состояния пригласить Захарьина было равносильно только-только что не разорению... О снисходительности его к больным неимущим – святая черта покойного Боткина! – Москва что-то не слыхивала. Хотя, с другой стороны, я лично знаю случай, как он, незванный, приехал к больному Ю. Н. Говорухе-Отроку, чьи статьи он любил, – приехал только потому, что услышал о серьезном недомогании писателя. Любопытно, что до этого своего визита Захарьин с Говорухою и знаком-то не был. Случай этот рассказывал мне сам покойный Говоруха. Состояние Захарьин

оставил колоссальное – вероятно, многомиллионное: один дом его на Кузнецком мосту – крупнейший капитал!

Студенчество Захарьина не любило, чувствуя, что и Захарьин его не любит. Между молодежью и стариком-профессором уже давно не оставалось ничего общего, а в последние годы совсем «порвалась цепь великая». Молодежь была слишком откровенна, чтобы профессор не догадывался о ее охлаждении к нему, а профессор слишком горд, чтобы ухаживать за молодежью, ища в ее среде популярности. В конце концов, взаимно недовольные друг другом, и слушатели, и лектор расходились все далее и далее, выращая неприязнь обоюдного непонимания... Отношения обострились до того, что, когда Захарьин пожертвовал 500 000 руб. на нужды церковноприходских школ, Москва объясняла это пожертвование, как сделанное «в пику» университету: вот же, мол, жертвую и я на общественные нужды, да только не вам, хотя и возился с вами всю жизнь! Вряд ли это было так. Захарьин был слишком умен, чтобы срывать свое неудовольствие на университет та-

ким детским проявлением бесцельной злобы. Просто он верил в необходимость первоначальной школы на Руси больше, чем в насущную потребность других видов образования, и – так как считал, что церковно-приходская школа имеет больше правительственных шансов вероятно за свое распространение, чем земская, – то и пожертвовал свои деньги туда, где, думал он, они скорее приведут к практической цели.

# Примечания

# 1

В травах, словах и камнях (*лат.*)

[^^^]

## 2

Чудесная женщина, знахарка (нем.)

[^^^]

На смертом одре (*лат.*)

[^^^]